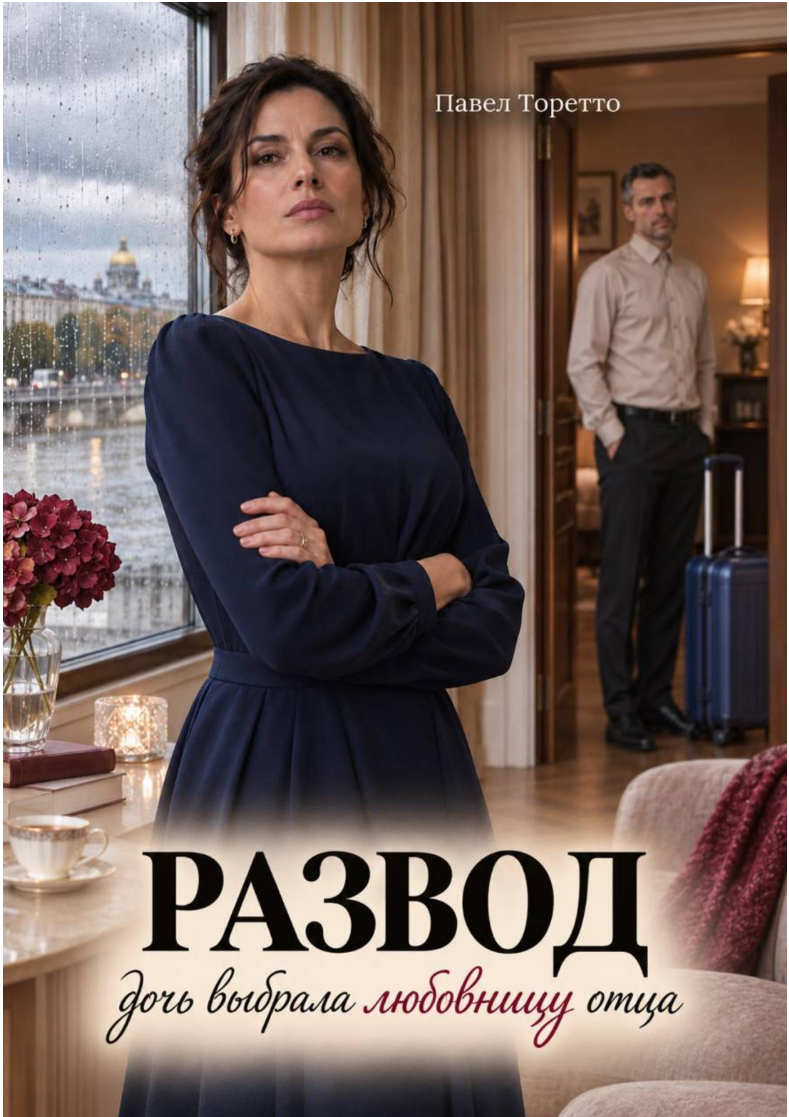

Павел Торетто
РАЗВОД
дочь выбрала любовницу отца

Павел Торетто

Развод. Дочь выбрала любовницу отца

https://litres.ru/75047413
SelfPub; 2026

Аннотация

«Мам, я с папой. С Николь хотя бы можно разговаривать, а с тобой только репетиции». Шестнадцатилетняя Рада сказала это в мой день рождения, стоя в прихожей с синим чемоданом.

Девятнадцать лет брака, пятнадцать лет детского ансамбля. Муж Рамиль ушёл к татуировщице Николь, ей двадцать восемь. Он вежлив, спокоен и считает всё в рублях.

Рамиль подаёт в суд и требует дочь и квартиру «в интересах ребёнка». Квартира куплена в браке, и отдавать её я не собираюсь. Похоже, Рада нужна ему как козырь.

Я привыкла командовать и каждый раз проигрываю с дочерью. Олжас, отец моей ученицы и начальник пожарного караула, сказал мне это прямо в первую же встречу.

Если дочь решила, что отец ей нужнее, что делать? Бороться до конца или наконец услышать, что она говорит? Ключ от моей квартиры у неё до сих пор есть.

При подготовке книги использовалась нейросеть.

Содержание

Глава 1. С тобой только репетиции 4
Глава 2. Вы с ними как с ротой 15
Глава 3. Квартира записана на меня 25
Глава 4. Семь пунктов 35
Конец ознакомительного фрагмента. 44

Павел Торетто
Развод. Дочь выбрала любовницу отца

Глава 1. С тобой только репетиции

– Мам, я с папой. С Николь хотя бы можно разговаривать, а с тобой только репетиции.

Рада стоит в прихожей у синего чемодана, в той самой куртке, которую я купила ей в августе, и крепко держит ручку, будто чемодан может убежать без неё. Я только что вошла, ещё не разулась, и в руках у меня торт с цифрой 43 из крема: ребята из «Зарянки» выводили её кондитерским шприцем, криво и с любовью, и я всю дорогу из ДК несла коробку на вытянутых руках, как хрупкий реквизит. Сегодня мне сорок три. Три недели назад от меня ушёл муж к двадцативосьмилетней татуировщице, а теперь, кажется, уходит дочь.

– Так, – говорю я, и голос сам становится репетиционным, ровным и командным, каким я останавливаю двадцать два подростка перед выходом. – Поставь чемодан. Разуйся. Мы сядем на кухне и поговорим, как нормальные люди.

– Вот! – Рада всплёскивает руками, и глаза у неё мокрые и

злые. – Слышишь себя? «Поставь, разуйся, сядем». Ты даже сейчас ведёшь репетицию!

– Ну-ка не кричи на мать. Я тебя спросила нормально, и ты мне ответишь нормально, а не как на митинге.

– А-а, ну конечно. Тебе можно, а мне нельзя. Тебе всегда можно, потому что ты права, у тебя же всё по плану, счёт, схема, расписание! – Она вытирает щёку тыльной стороной ладони, зло, размазывая тушь, и от этого движения она вдруг похожа на ту пятилетнюю девочку, которая рыдала в гримёрке из-за порванной ленты. – Я полгода пытаюсь сказать тебе хоть что-нибудь, а ты слушаешь только до того места, где можно дать команду.

Я ставлю торт на тумбочку, и крем с цифрой съезжает набок, «тройка» оседает на «четвёрку». Мне хочется сказать, что это неправда, что я слушала, что я всё время рядом, но я вспоминаю июньскую кухню и её вопрос, на который я ответила про отчётный концерт, и слова застревают. Вместо них вылетает совсем другое, то, чего я собиралась не говорить:

– Ты хоть понимаешь, что у меня сегодня день рождения? Что я пришла домой с этим тортом и три недели не могу нормально дышать? Ты хоть раз подумала не о том, как тебе плохо со мной, а о том, как мне без вас обоих?

– Ох, мам. – Рада коротко, некрасиво смеётся сквозь слёзы. – Вот поэтому. Всегда «как мне». Даже когда ты уходишь вся в слезах, ты всё равно в центре сцены.

Это попадает точно, и она знает, что попало, потому что

замолкает и смотрит в пол. Я стягиваю с ног туфли одну о другую, не наклоняясь, и вдруг вижу нас со стороны: две женщины в узкой прихожей, торт, чемодан, и ни одной нужной фразы на двоих.

– Рада, послушай, – начинаю я уже другим голосом, тем, которым говорю с испуганными первоклашками. – Давай я просто заварю чай, и ты мне объяснишь, что случилось. Не как тренеру, а как маме. Я обещаю не перебивать.

– Ты не умеешь не перебивать, – отвечает она устало, и в этой усталости больше взрослости, чем мне хотелось бы видеть. – Ты начинаешь слушать, а через минуту у тебя уже готов ответ, и ты кивнула, и дальше про своё. Я пробовала, мам, правда пробовала. Три года пробовала, с того самого мая.

– Это из-за ансамбля? Из-за того, что я тогда при всех…

– Нет. То есть да. То есть при чём тут вообще ансамбль! – Она морщится, как от зубной боли, и я вижу, что она сама не знает, как выразить то, что колотится в ней. – Просто с тобой всё всегда про результат. Оценка, выход, диплом. А с Николь я могу сказать «мне хреново», и она не начнёт составлять план, как мне стать нормальной.

– Не говори при мне такие слова.

– Вот! – Рада даже притопывает ногой, и бубенчик на связке в её кармане отзывается слабым звоном. – Вот об этом я и говорю. Я сказала правду, а ты мне про слова.

Я открываю рот, чтобы возразить, и закрываю. Крыть

нечем, и мы обе это знаем.

***

Двадцать восьмого августа он стоял на кухне с двумя спортивными сумками, уже собранный, уже чужой, и сказал это так спокойно, что я сначала не поняла, о чём речь.

– Мне сорок шесть, Яна, – сказал он тогда спокойно, будто читал прайс, – я хочу жить, а не по расписанию.

Я мешала в кастрюле гречку и, помнится, продолжала мешать ещё секунд десять, пока он объяснял, что всё сделал по-честному, что никого не обманывал, что ему нужен воздух. На его левом предплечье из-под закатанного рукава выглядывал компас, чёрный, с аккуратной стрелкой, тот самый, над которым я смеялась в феврале: «Рамиль, у тебя кризис среднего возраста, купи лучше мотоцикл». Он тогда улыбнулся и промолчал. Теперь я знаю, что он улыбался не мне, а чему-то своему, и от этой мысли мне до сих пор хочется вымыть руки.

– Ты мог сказать раньше, – ответила я. – Хотя бы в июне, когда я тебя спрашивала, почему ты поздно приходишь.

– Не мог, Яна. С тобой нельзя вовремя, у тебя всегда то конкурс, то концерт, то набор. Я ждал просвета, а его не было.

Он говорил это без злости, и в этом было самое страшное: ни крика, ни хлопанья дверью, просто человек вычеркивает меня из своего расписания, аккуратно, как отменённый рейс.

***

Домофон звонит, когда мы с Радой стоим в двух шагах друг от друга и обе делаем вид, что никуда не торопимся. Рада вздрагивает, и по этому вздрагиванию я понимаю, что она ждала звонка, что всё уже было оговорено без меня, что чемодан собран не за двадцать минут. Она бросается к трубке, говорит туда тихое «поднимайся», и через минуту в дверь стучат два раза, коротко и уверенно.

Рамиль входит так, как входил сюда четырнадцать лет: не вытирая ног, держа ключи на пальце. Он в тёмной куртке, на висках серебро, в руке пакет с логотипом цветочного магазина, и он первым делом протягивает мне этот пакет, будто мы встретились на банкете.

– С днём рождения, Яна. Здесь орхидея, ты любишь. Давай без сцен, хорошо? Рада взрослая, ей шестнадцать, она может сама решить, где ей удобнее.

– Удобнее, – повторяю я. – Рамиль, ты слышишь себя? Ты говоришь про нашу дочь так, будто она выбирает тариф на связь.

– Я говорю по-хорошему. – Он ставит пакет на тумбочку рядом с моим тортом, и орхидея в прозрачной упаковке выглядит рядом с кривой кремовой «43» нелепо и дорого. – Никто никого не отнимает. Ты сможешь видеться с ней когда угодно, мы же не враги. Но ей нужно пространство, а у тебя дома, прости, как в казарме.

– Как в казарме. – Я ищу взгляд Рады, а она изучает свои кроссовки и крутит в пальцах серебристый ключ с малень-

ким бубенчиком от старого костюма. – Радочка, это правда? Ты тоже так думаешь?

Она молчит, и бубенчик тихо звенит в её руке. Я чувствую, как внутри поднимается привычное, командное: схватить чемодан, сказать «никуда ты не поедешь», запереть дверь, поставить её к станку. Это я умею. Но я вижу её лицо, закушенную губу, побелевшие пальцы, и вдруг понимаю очень ясно: если я сейчас удержу её за руку, то потеряю насовсем, и не на неделю, а на годы. Силой в шестнадцать лет не держат, держат только тех, кто сам хочет остаться.

– Хорошо, – говорю я наконец, и голос получается тише, чем я ожидала. – Поезжай. Я не буду тебя держать.

– Мам… – Рада поднимает голову, и в её лице на секунду мелькает растерянность, будто она готовилась к бою, а противник сложил оружие. Потом она протягивает мне ладонь с ключом. – Вот. Возьми. Раз я уезжаю, наверное, правильно, чтобы он был у тебя.

Я смотрю на этот ключ, на потёртый бубенчик, который она привязала ещё в седьмом классе, потому что вечно теряла связку, и меня вдруг пронзает так остро, что приходится опереться о косяк.

– Оставь себе, – говорю я, и закрываю её пальцы своими. – Это твой дом, Рада. Он будет твоим, где бы ты ни жила.

– Я не… ну ладно. – Она сглатывает, прячет ключ в карман куртки, отворачивается и берётся за ручку чемодана. – Ладно. Спасибо.

Рамиль подхватывает чемодан одной рукой, кивает мне коротко, по-деловому, и они уходят. Дверь закрывается с тем мягким щелчком, который я раньше не замечала, и в квартире становится так тихо, что слышно, как в ванной капает кран.

***

Я иду на кухню, не включая свет, и встаю у окна. Набережная внизу залита жёлтым фонарным светом, за ней темнеет Иртыш, тёплый сентябрь пахнет листьями даже через стекло, и у обочины под моими окнами стоит чёрный БМВ, который я знаю по каждой царапине. Рамиль укладывает чемодан в багажник, Рада садится назад, хлопает дверью, и я вижу, как она тут же уходит лицом в телефон.

На переднем пассажирском сиденье сидит женщина. Я никогда не видела её раньше, только фотографии на странице студии, которые смотрела ночью, пока не заболела голова: короткие, выбеленные до белизны волосы, кольцо в брови, на правой руке от плеча до запястья сплошной рукав из чёрных узоров. Она сидит, свободно откинувшись, и вдруг поднимает голову и смотрит прямо на моё окно, на шестой этаж, где нет света и где меня не должно быть видно.

Мне кажется, что она видит. Мы смотрим друг на друга сквозь стекло и два десятка метров осеннего воздуха, и я не могу понять, что у неё на лице: торжество, жалость или просто любопытство. Потом она отворачивается, говорит что-то Рамилю, и БМВ мягко трогается, уходит вдоль набережной

и пропадает.

– Ну вот, – вслух говорю я пустой кухне. – Ну вот и всё, Яна. Поздравляю.

Я стою ещё минут десять, пока не замечаю на тумбочке в прихожей пакет с орхидеей. Приношу её на кухню, разворачиваю хрустящую плёнку, и белые цветы со светло-розовой серединкой выглядят так нежно и уместно, что я почти ненавижу Рамиля за вкус. Он всегда умел выбирать подарки: подарил мне на десятую годовщину серьги, о которых я боялась даже заикнуться, и на пятнадцатую путёвку к морю. Просто он дарил то, что нравится ему, ловко угадывая, что понравится и мне, а меня как человека, наверное, давно не рассматривал вовсе.

Я ставлю горшок на подоконник, отодвигаю шторы, чтобы цветку хватало света, и вдруг вспоминаю сегодняшний вечер, который был ещё три часа назад. ДК, зал № 2, свет выключен, и когда я открываю дверь, из темноты вылетает дружное «с днём рождения, Янина Викторовна!». Двадцать два голоса, шарики, Каролина с телефоном, снимающая всё это на видео, Прокоп Ильич, который заиграл на баяне «Именинницу» с таким торжественным лицом, будто открывал сессию парламента. Айгуль вынесла торт на вытянутых руках, и мальчишки из старшей группы стукнулись лбами, споря, кому нести свечку.

– Янина Викторовна, а вы загадайте! – кричала Айгуль, подпрыгивая. – Только вслух нельзя, а то не сбудется!

Я зажмурилась, задула эти несчастные свечки и, конечно, загадала. Одно желание, простое и глупое: чтобы дома меня ждали. Хотя бы одна живая душа, пусть сердитая, пусть обиженная. И вот я стою на кухне с чужой орхидеей, и желание исполнилось ровно наполовину: дома меня ждали, но так, как ждут приставов.

– Ох, Яна, – говорю я себе и качаю головой. – Надо было загадывать конкретнее.

***

Дверь в комнату Рады приоткрыта. Я не заходила сюда с тех пор, как она рассорилась со мной в начале сентября, и теперь включаю свет, как будто собираюсь делать уборку. Кровать заправлена наспех, на столе остались карандаши и несколько набросков: лицо старика в вязаной шапке, чьи-то руки, чашка с трещиной, и везде тонкая уверенная линия, которая у неё появилась после тринадцати. Я не знала, что она так рисует. Я вообще не знала, что она рисует каждый вечер, потому что вечером я была в зале.

Под стопкой листов лежит блокнот на пружине. Я открываю его без разрешения, и сразу же стыжусь этого, но отложить уже не получается. На первой странице нарисована женщина со спины: тугой пучок, прямая шея, поднятая рука, будто она кому-то показывает счёт. Подписи нет, и не нужно, я узнаю себя по одной только линии лопаток. Рисунок сделан быстро, одним уверенным движением, без единого исправления, и в нём нет ни насмешки, ни злости, только внима-

тельное, почти нежное любопытство.

Я перелистываю дальше. Ещё одна женщина со спины, потом ещё, и вдруг понимаю, что их десятки, этих «меня»: у плиты, у зеркала, у окна, на пороге ДК с огромной сумкой. Она годами рисовала мою спину, потому что видела её чаще, чем лицо.

На крючке у двери, там же, где всегда, висят её первые красные сапожки «Зарянки». Пятнадцатый год, ей было пять, и она так гордилась ими, что спала в них, пока я не вытащила их из-под одеяла. Кожа на носках потёрлась, блёстка на левом каблучке отвалилась, и я зачем-то подношу сапожок к лицу, хотя пахнет он только пылью и старой кожей.

Я возвращаюсь в прихожую за тортом, потому что не могу оставить его на тумбочке, как памятник собственной глупости. Крем окончательно поплыл, «43» превратилась в разноцветную лужицу, и ребята потратили на этот торт, наверное, весь вечер. Я сажусь на пол в комнате Рады, прислонившись спиной к кровати, снимаю крышку и ем прямо из коробки, вилкой, большими кусками, пока сладкое не начинает давить на горло.

– Ох, дети мои, – говорю я вслух, и сама не знаю, про кого: про тех, что ждали меня в зале с шариками, или про ту, что только что вышла в дверь. – Какие же вы у меня… а я какая…

Телефон лежит рядом, экран тёмный, и я трижды берусь за него, чтобы написать Раде хоть слово: «Доехала?», «Тепло

ли у вас?», «Позвони, когда будет минутка». Трижды стираю. Любая из этих фраз звучит как приказ в мягкой упаковке, и я не хочу, чтобы она получила ещё один такой подарок в свой день отъезда.

Мне вдруг становится смешно, по-настоящему, до слёз: сорок три года, хореограф, образцовый коллектив, а сижу на полу посреди детской и ем торт из коробки, как студентка после неудачного экзамена. Я смеюсь и тут же плачу, и это продолжается долго, пока не начинает болеть живот, и вилка выпадает из руки на ковёр. Потом я вытираю лицо рукавом, как Рада, замечаю это и снова смеюсь.

***

Телефон вибрирует ближе к полуночи. Я лежу в спальне на покрывале, не раздеваясь, и сначала хочу не смотреть, потому что кто ещё может писать мне в такое время, кроме тех, кого я не хочу видеть. Но экран загорается второй раз, потом третий, и я беру трубку.

Сообщение от Рамиля. Ни «спокойной ночи», ни «как ты». Только три коротких фразы, ровные, деловые, словно письмо из бухгалтерии.

«Рада будет жить у меня. По квартире поговорим через юриста. С днём рождения, Яна».

Глава 2. Вы с ними как с ротой

Утром я по привычке ставлю на стол две чашки, и только когда рука тянется к чайнику, замечаю, что вторая стоит напротив пустого стула. Секунду я разглядываю её, потом выливаю чай в раковину и ставлю чашку на сушилку, причём так аккуратно, будто она может обидеться. Рада никогда не завтракала со мной, она хватала что-нибудь на ходу и убегала в школу, но две чашки всё равно были, как был свет в её комнате и стук двери по утрам. Теперь в квартире у Иртыша тихо до звона, и в эту тишину с набережной доносится шорох велосипедных шин.

Я беру телефон и пишу: «Ты поела?» Потом стираю и пишу то же самое заново, потому что любая другая фраза выглядит ещё хуже. Отправляю, ставлю телефон экраном вниз и иду собираться, но на каждом шаге оглядываюсь на стол: мигнёт или нет. В зеркале в прихожей на меня смотрит тётка с тугим пучком и серым лицом, и я говорю ей вполголоса:

– Так, Логинова. Собралась. У тебя сегодня конкурсное приглашение и три часа старшей группы, а не поминки.

Ответ приходит только через час, когда я уже еду в своей белой «Киа» по набережной, придерживая руль одной рукой и вслепую шаря глазами по экрану на светофоре. Одно слово: «да». Без точки, без смайла, без «мам», как будто писал автомат. Я перечитываю его три раза и каждый раз пытаюсь

услышать интонацию, но интонации там нет, и от этого на душе делается ещё холоднее.

***

В кабинете директора ДК пахнет бумагой и остывшим кофе, и Евстигней Павлович, как всегда, сидит с очками на лбу, будто забыл, что они у него есть. Перед ним калькулятор, горка распечаток и тарелка с одним надкусанным печеньем. Он поднимает на меня глаза, и я сразу понимаю, что новость есть, и что новость такая, от которой он сам хотел бы спрятаться за этим калькулятором.

– Садитесь, Янина Викторовна, садитесь. Тут такое дело. Пришло, значит, письмо. – Он выуживает из стопки лист с гербом и торжественно кладёт передо мной. – Всероссийский фестиваль «Казанская карусель», пятнадцатое по восемнадцатое апреля. Вас приглашают. Прямо вас, «Зарянку», номер «Сибирская кадриль».

– Господи, Евстигней Павлович. – Я хватаю лист, и у меня на секунду все мысли о Раде, о Рамиле и об орхидее в целлофане куда-то уходят. – Это же именно то, что мы три года подавали заявку! Мы едем?

– Вот тут, Янина Викторовна, и начинается арифметика. – Он вздыхает, натягивает очки на нос и придвигает калькулятор. – Смета у них такая. Поезд на двадцать два ребёнка и четырёх взрослых, гостиница, организационный взнос, костюмы под новые правила, звук, реквизит. Всего семьсот восемьдесят тысяч рублей. А у ДК, если вы помните, ремонт

кровли на носу, и свободных денег нет вообще. Ни копейки.

Семьсот восемьдесят тысяч. Я повторяю про себя эту сумму и прикидываю, что моя зарплата около пятидесяти восьми, что на счёте у меня двести сорок, а муж, который прежде закрыл бы вопрос одним звонком, теперь пишет мне через юриста. Мне хочется засмеяться, потому что приглашение, о котором я мечтала три года, приходит ровно в тот месяц, когда я не могу заплатить даже за свою собственную жизнь.

– Ищите, Янина Викторовна, – говорит он уже мягче, и я вижу, что ему неловко. – Ищите спонсоров, родителей подключайте, а я со своей стороны поищу у себя. Что-нибудь выкрою, обещаю. Только срок у нас до конца декабря, потом они отдадут место другим.

– Поищем, – отвечаю я и сворачиваю письмо вчетверо, как будто оно может сбежать.

Я выхожу в коридор и там, у подоконника, достаю телефон и открываю калькулятор. Сначала делю семьсот восемьдесят на двадцать два, получается тридцать пять с лишним тысяч на ребёнка, и это число сразу выглядит нереальным: половина родителей у нас считает деньги до зарплаты. Потом вычитаю то, что обещает ДК, хотя это пока только вежливое «поищу», потом свои двести сорок на счёте, и выходит такая дыра, что хочется выключить экран.

– Ох, Яна, – говорю я тихо, прижимая телефон ко лбу. – Ну кто тебя просил мечтать.

Мимо проходит уборщица с ведром, косится на меня с

сочувствием и желает доброго утра. Я отвечаю ей слишком бодро, и от этого становится ещё нелепее.

***

К пяти часам зал № 2 уже гудит. Старшие переодеваются у зеркал, кто-то растягивается на станке, кто-то спорит про новую песню, и этот шум обычно заводит меня, как мотор, но сегодня он будто режет по нервам. Я стою в центре, сжимаю кассетник в руках и слышу, что говорю громче и резче, чем нужно. Прокоп Ильич настраивает баян в углу, и я ловлю на себе его быстрый взгляд поверх мехов, внимательный и слишком добрый, от которого мне хочется закричать.

– Так, все по местам! – Хлопаю в ладоши. – «Сибирская кадриль», с начала. Девочки, в первой фигуре вы сегодня как стадо слонов, а не как ласточки. Мальчики, руки выше, я хочу видеть линию, а не то, что вы там делаете. Раз, и-два, три, и-четыре!

Они идут, и мне сразу видно всё: у одной из девочек сползает платок, один из мальчиков вылетает на полтакта вперёд, а Айгуль, моя худенькая, с двумя косами, на присядке теряет равновесие и падает на колено. Грохот, скрип паркета, кто-то ахает. Я не успеваю ни вдохнуть, ни подумать, голос выходит сам, жёсткий, как команда на плацу:

– Нуркенова! С начала! И не реви!

Айгуль поднимается, губы у неё трясутся, и она грызёт ноготь на большом пальце, как всегда, когда боится. Зал замирает, и музыка, которую Прокоп Ильич заиграл, обрывается

на середине такта. Он косится на меня поверх баяна, лысина блестит под лампой, и я вижу, что он хочет что-то сказать, но не говорит, и от этого мне становится ещё хуже.

– Ну что уставились? – Я слышу, как голос чуть дрожит, и злюсь ещё сильнее. – Время идёт. Прокоп Ильич, с первого такта, пожалуйста.

– Яночка, – тихо говорит он, не трогая клавиш. – Может, воды?

– Не нужно воды. Нужно работать.

– Янина Викторовна, – подходит ко мне в перерыве Каролина, протягивая бутылку воды, и говорит вполголоса, чтобы не слышали дети. – Вы сегодня прямо как на фронте. Что-то случилось?

– Случилось то, что нам прислали приглашение в Казань, а денег на него нет. Вот что случилось. – Я отпиваю и морщусь: вода тёплая. – А ещё у меня дочь переехала к отцу. Но это ты уже знаешь.

– Знаю. Простите. – Каролина мнётся, теребит наушник и всё же решается. – Только знаете, дети чувствуют. Они ведь всё чувствуют, даже когда им не объясняют. Вы можете злиться на кого угодно, но не на них.

– Я не злюсь на них, я просто требую.

– Ну да. – Она не спорит, она только вздыхает, и этот вздох говорит больше любых слов. – Конечно.

Мы работаем ещё два часа, и всё это время я не отпускаю их ни на минуту: поворот, ещё раз, вытяни носок, держи спи-

ну, не сутулься. Я знаю, что делаю что-то не так, чувствую это затылком, как сквозняк, но остановиться не могу, потому что если остановлюсь, придётся думать о пустой чашке и слове «да» без точки. Айгуль больше не падает, она танцует чисто и отчаянно, с побелевшим лицом, и когда я наконец говорю «спасибо, на сегодня всё», она первая выбегает в раздевалку.

***

В коридоре в восемь вечера горит только половина ламп, потому что Евстигней Павлович экономит. Я выхожу из зала с кассетником под мышкой и почти сталкиваюсь с мужчиной, который стоит у стены напротив двери, высокий, в тёмной куртке, с обветренным лицом и руками, сложенными на груди. Я узнаю его не сразу: папа Нуркеновой, с которым мы один раз говорили про оплату костюма.

– Добрый вечер, Янина Викторовна, – говорит он, не двигаясь с места. – Я Олжас Серикович. Вы, наверное, меня помните. Я ждал Айгуль, но пока ждал, увидел часть репетиции через дверь. Позволите сказать вам одну вещь?

– Если речь про оплату, то у бухгалтера. – Я перехватываю кассетник удобнее и пытаюсь пройти мимо. – Я сейчас очень устала.

– Речь не про оплату. – Он говорит медленно, и в каждой фразе ощущается, что он эти слова взвесил заранее. – Я не берусь учить вас танцу, Янина Викторовна, – говорит он ровно, – но у меня в карауле так с людьми не разговаривают, да-

же когда горит. Вы с ними как с ротой. Моя дочь второй день не ест перед репетициями, потому что её тошнит от страха. Я думал, это возраст, но сегодня увидел, и мне кажется, дело не в возрасте.

У меня внутри будто что-то вспыхивает, быстро и горячо, и я чувствую, как краска заливает шею. Двадцать два ребёнка, пятнадцать лет, три диплома лауреата, и какой-то пожарный, который, возможно, ни разу в жизни не был на концерте, объясняет мне, как разговаривать с детьми.

– Простите, а вы кто, чтобы мне это говорить? – Голос у меня выходит звонким и злым. – Я не учу вас тушить пожары, Олжас Серикович. Вот и вы не учите меня работать. У меня конкурсный номер, у меня сроки, у меня двадцать два человека, которые должны выйти на сцену без единой ошибки, и если я буду с ними нянчиться, они там не простоят и минуты. Это спорт, это дисциплина, это не детский сад.

– Дисциплина, конечно, нужна, я не спорю. – Он слегка наклоняет голову, и ни один мускул на его лице не дрогнул от моего тона. – Но дисциплина и «не реви» это разные вещи. Я слышал и то, и другое, и разницу чувствует даже четырнадцатилетний человек. Я не прошу вас ничего менять сегодня. Я прошу только подумать, что слышит Айгуль, когда вы кричите: команду или то, что она не справилась.

– Вы закончили?

– Да, пожалуй, закончил. Извините, если был резок, но мне показалось, что лучше сказать прямо, чем молчать. – В

его голосе нет ни насмешки, ни торжества, только усталое спокойствие, и это раздражает меня больше, чем если бы он повысил голос. Из раздевалки выглядывает Айгуль, и круглыми глазами, и Олжас Серикович тут же улыбается ей, просто и тепло, совсем другой улыбкой, чем та, которая достаётся мне. – Идём, дочь. Куртку застегни, на улице уже холодно.

Они уходят, и стук каблуков по пустому коридору слышен ещё долго. Я стою, прижимая кассетник к боку, и внутри у меня всё клокочет, как закипающий чайник. Пожарный. Ну надо же. Мне хочется догнать его и сказать что-нибудь острое, но ничего не придумывается, и я только фыркаю вслух, как кошка, которой наступили на хвост.

– Ох, Янина Викторовна, – тихо говорит за спиной Каролина, вышедшая из соседнего зала с наушником в ухе. – Он, конечно, нахал. Но Айгуль и правда последнюю неделю как струна.

– Не начинай, Каролина.

– Не начинаю. Я чай поставила, будете?

– Нет. Иди домой.

***

Дома я первым делом разогреваю вчерашний суп и ем его стоя, глядя в тёмное окно, за которым по набережной ползут редкие огни. Ложка стучит о тарелку громче, чем нужно, и я вдруг ловлю себя на том, что говорю вслух: пересказываю пустой кухне слова Олжаса Сериковича, подбирая на ходу возражения. Они получаются отличные, острые, смеш-

ные, но ни одно из них не отвечает на главный вопрос: почему Айгуль не ест перед репетициями. Я мою тарелку дольше, чем нужно, хотя она давно чистая. Потом вытираю стол, который и без того сухой, переставляю солонку, поправляю полотенце на ручке духовки. Квартира у меня всегда была образцово прибранной, потому что порядок это единственное, что подчиняется приказу, и сейчас я понимаю, что мою его не ради чистоты, а чтобы руки не остались пустыми.

В одиннадцатом часу я сажусь за стол, не переодевшись, потому что ноги гудят, и открываю переписку с дочерью. Последняя запись там моя утренняя «Ты поела?» и её «да». Я гляжу в экран и думаю о том, что мне нужно написать что-то важное, потому что завтра у неё контрольная, а её отец, конечно, не следит, и нужно напомнить про форму на физкультуру, про справку, про обувь на смену.

Я печатаю быстро, привычно, строка за строкой: «Рада, завтра в школе не забудь сменку. Обязательно позавтракай, не покупай ничего в буфете. Реши заранее, что надеть, чтобы не опаздывать. Не сиди ночью с телефоном. Проверь, что тетрадь по алгебре с тобой. Если будут вопросы по домашней работе, звони. Папе передай, что нужно оформить продлёнку на английский. Целую». Нажимаю «отправить», и телефон тихо пищит, как будто принимает груз.

Минут через сорок экран загорается. Две буквы: «ок».

Я кладу телефон на стол. Восемь строк от меня, две буквы от неё, и впервые я думаю, что этот пожарный, может быть,

прав.

Глава 3. Квартира записана на меня

Заказное письмо из суда я вскрываю прямо у окошка почты, не дожидаясь, пока отойду хотя бы на крыльцо. Девушка за стеклом ещё протягивает мне ручку для росписи, а я уже рву край конверта ногтем, и тонкие листы в моих руках дрожат так, что строчки разбегаются, как ноты в плохом свете. «Исковое заявление. Истец: Логинов Рамиль Ринатович. Ответчик: Логинова Янина Викторовна». Я читаю свою фамилию рядом с его и не сразу понимаю, что это не опечатка.

– Женщина, вы расписались? – нетерпеливо спрашивает кто-то сзади, и я, не глядя, ставлю закорючку, отхожу к подоконнику и впиваюсь в текст.

Развод. Место жительства несовершеннолетней Логиновой Рады Рамилевны определить с отцом. Квартиру, расположенную по адресу Иртышская набережная, передать в собственность истцу «в интересах ребёнка, для обеспечения ей стабильных условий проживания», а ответчику выплатить компенсацию. Я перечитываю это слово «компенсация» дважды, и мне кажется, что речь идёт не о моём доме, где я годами меняла сантехнику, клеила обои в Радиной комнате и ночами выбирала шторы, а о пакете акций, который можно обналичить.

Иск подан первого октября. Сегодня девятое. Всё это время я ходила на работу, репетировала, писала Раде «ты поела?» и получала «да», а он уже давно всё решил и даже, наверное, пообедал в тот день как обычно.

***

На улице листопад. Жёлтые листья клёна летят мне под ноги, лезут за воротник, прилипают к мокрому асфальту, и я иду к машине, прижимая письмо к груди, как студентка зачётку с долгом. Сажусь в «Киа», завожу двигатель, глушу, снова завожу. Потом нахожу в телефоне «Рамиль» и нажимаю вызов раньше, чем успеваю подумать, о чём буду говорить.

Он берёт после третьего гудка. На фоне что-то шумит, наверное, магазин, и я слышу, как он отходит от людей, прикрывает дверь.

– Да, Яна. Получила?

– Получила. – Я стараюсь, чтобы голос не дрожал, и держу его на самом ровном тоне, как держат полную чашку. – Рамиль, ты что, с ума сошёл? Квартира ребёнку? Ты хоть понимаешь, что это наш дом? Что мы её вместе покупали, вместе платили ипотеку, что я там каждую плиту руками…

– Ну что ты, Яна, какая война, – говорит Рамиль почти ласково. – Квартира записана на меня, Рада со мной, давай по-хорошему. Я не хочу тебя обижать. Подпиши согласие, получишь компенсацию, снимешь себе приличную студию рядом с работой. Суд будет на стороне ребёнка, ты же сама

знаешь, как это бывает. Шестнадцатилетний человек имеет право голоса.

– Ты использовал ребёнка, чтобы отнять у меня квартиру. – Я произношу это тихо, и сама удивляюсь, как страшно это звучит вслух.

– Я никого не использую, Яна. Я забочусь о дочери. Она живёт у меня, и у неё должен быть нормальный дом, а не то, что ты называешь домом: зал, станок и расписание. Подумай хорошенько, не горячись. Я подожду неделю, потом мои юристы будут действовать жёстче. Не хотелось бы, мы же столько прожили вместе.

– Мы прожили девятнадцать лет.

– Вот именно. – Он вздыхает, мягко, почти сочувственно. – Давай без сцен. Береги себя, тренер.

Короткие гудки. Я ещё несколько секунд держу телефон у уха, потом опускаю руку на руль, и мне хочется завыть, но я только бью ладонью по рулю, один раз, второй, пока кожа не начинает гореть. Господи, какой он спокойный. Какой же он спокойный, будто обсуждает со мной цены на холодильники.

***

В зале № 2 Каролина сидит на подоконнике и красит ногти, одной рукой придерживая наушник. Я вхожу, шмыгая носом, и она сразу всё понимает по моему лицу: опускает лак, спрыгивает на пол, подходит и молча забирает у меня сумку.

– Что? – спрашивает она.

– Он подал в суд. На развод, на квартиру, на Раду. – Я

протягиваю ей сложенные листы, она пробегает глазами по первой странице и присвистывает. – Мне нужен юрист, Каролина, а у меня нет ни одного знакомого, кроме нашей бухгалтерши, которая в юриспруденции понимает меньше меня.

– А у меня есть. – Она уже достаёт телефон, листает контакты, и на её рыжей голове вспыхивает отблеск лампы. – Зульфия Маратовна. Она вела развод моей сестры, жёсткая, как наждак, зато выиграла всё, что можно было выиграть. Короткая седая стрижка, красная помада, вы её не перепутаете. Сейчас позвоню и скажу, что от меня. Если будет время, она вас сегодня же примет.

Через десять минут Каролина кладёт трубку и показывает мне поднятый большой палец:

– В два часа, на улице Ленина. Только документы возьмите: паспорт, свидетельство о браке, всё, что есть на квартиру. Янина Викторовна, вы только не паникуйте.

– Я не паникую, – отвечаю я и вдруг замечаю, что стискиваю её сумку так, что побелели костяшки. – Я просто думаю, где у меня лежит свидетельство о браке.

***

Офис Зульфии Маратовны находится на втором этаже старого дома на улице Ленина, где лестница пахнет мастикой, а в приёмной висит календарь с видами Алтая. Она встречает меня в дверях, действительно с короткой седой стрижкой и красной помадой, и с первых секунд я понимаю, что передо мной человек, которому нельзя врать и нельзя

плакать, потому что это пустая трата времени. Она читает иск сорок минут, делая пометки карандашом, потом поднимает голову.

– Так. Садитесь, Янина. Расскажу, как есть, без утешений. Вы сидите?

– Сижу. – Я и правда сижу на самом краешке кресла, как на репетиции перед выходом.

– Квартира, – говорит она, постукивая карандашом по первому листу, – оформлена на мужа, но куплена в браке. Значит, она общая, и ваша доля в ней по закону равна его доле. То, что собственник на бумаге он, ничего не значит. Теперь ООО «Логин». Основано в две тысячи девятом, в браке. Это тоже совместно нажитое, и половина доли по закону принадлежит вам. Он это знает, конечно, и поэтому не торгуется про бизнес, а бьёт по квартире и по ребёнку.

– По ребёнку, – повторяю я. – Он говорит, суд будет на стороне Рады.

– Он, к сожалению, прав. – Зульфия Маратовна снимает очки и потирает переносицу. – Шестнадцатилетняя девочка, которая заявит, что хочет жить с отцом, в девяти случаях из десяти получит то, что хочет. А статья тридцать девятая Семейного кодекса позволяет суду отступить от равенства долей, если это нужно ради интересов ребёнка. Вот на что он рассчитывает, Янина. Ему нужна ваша дочь не как дочь, а как довод.

Я молчу. Слова «довод» и «козырь» дают мне такую по-

щёчину, что слёзы поднимаются к горлу, но я глотаю их, потому что красная помада напротив ничего не прощает.

– Что делать?

– Первое: не пытаться забрать Раду силой и не скандалить с ней, это будет использовано против вас. Второе: подать встречный иск о разделе общего имущества, и в первую очередь о доле в ООО. Тогда он вынужден будет объяснять, откуда у него такая выручка, и показывать, сколько он получает наличными. Это его самое больное место. Если хотите, я начну готовить бумаги сегодня же.

– А деньги? – спрашиваю я, и от этого вопроса мне самой становится стыдно. – Сколько это будет стоить?

– Шестьдесят тысяч рублей за ведение дела. – Она не отводит глаз. – Можно платить частями, я не мелочная. Но не обещайте себе, что это дёшево, и не думайте, что будет быстро.

– Ещё один вопрос, если позволите. – Я сглатываю. – Рада. Как мне с ней? Я не хочу, чтобы она узнала, что я подаю иск, и подумала, что я против неё.

– Она всё равно узнает, и лучше от вас, чем от Ерболата Кайратовича, это юрист вашего мужа. – Зульфия Маратовна впервые за разговор смягчается, чуть заметно. – Скажите ей прямо: иск не против неё, а за вашу долю. И не ждите, что она поймёт сразу. Подростки считывают не слова, а то, дрожит ли у вас голос. Вам придётся учиться, чтобы он не дрожал.

– Ох, это я как раз умею. – Я невесело усмехаюсь. – Я всю жизнь командую, голос у меня железный.

– Железный, милая, это тоже дрожь, только наоборот, – говорит она сухо, и я не нахожусь, что ответить.

Я киваю, достаю из сумки паспорт и свидетельство о браке, то самое, которое нашла в шкафу в коробке с чеками, и кладу на стол. Мне кажется, что вместе с этими бумагами я кладу на стол девятнадцать лет.

***

К пяти я появляюсь на репетиции, уставшая, с красными глазами, и первый раз за пятнадцать лет не знаю, с чего начать. Ребята выстроились вдоль зеркала, ждут, и я встаю перед ними, а потом тихо говорю:

– Ставьте руки на пояс. Идём первую фигуру.

Прокоп Ильич играет вступление, и я стою и смотрю, как они идут, и не считаю. Ни «и-раз», ни «и-два», ни «держи спину». Просто смотрю, и вдруг замечаю то, чего раньше не видела: как один из мальчиков тянет носок, как девочки в среднем ряду улыбаются друг другу краем губ. Музыка идёт, они идут, а у меня в голове непривычно пусто. Фигура кончается, баян умолкает, и никто не двигается, будто все ждут окрика.

– Ох, Яночка, – говорит Прокоп Ильич и хмыкает, ставя баян на колени. – А я думал, у нас сломался метроном. За пятнадцать лет впервые сбился от тишины. Держи.

Он лезет в карман жилетки, достаёт мятный леденец в

прозрачной обёртке и протягивает мне, как когда-то протягивал детям после выступления. Я разворачиваю и кладу в рот, и холодная сладость колет язык, как напоминание, что я ещё жива.

– Спасибо, Прокоп Ильич. Это очень вовремя.

– Это завсегда вовремя. Эх.

***

Домой я возвращаюсь пешком, потому что машину оставила у ДК, и всю дорогу считаю. Шестьдесят тысяч за адвоката, двадцать сегодня, остальное частями. Двести сорок на счёте, значит, после первого платежа двести двадцать, а ещё коммуналка, бензин, Радина школьная форма, которую надо купить, даже если она живёт у отца. Я уговариваю себя, что это временно, что деньги найдутся, но каждый раз цифра семьсот восемьдесят выплывает из памяти, как айсберг, и топит все мои уговоры.

У киоска с газетами я останавливаюсь и покупаю пакет мятных конфет и стою с ним, не вспоминая, для чего они мне. Продавщица в вязаной шапке смотрит на меня с интересом.

– Вам чего-нибудь ещё, женщина?

– Нет, спасибо. Ох. Нет, это всё.

Дойдя до дома, я выбрасываю конфеты в урну у подъезда, потому что они пахнут чужим.

Вечер. Я стою на кухне и режу хлеб, хотя есть не хочется, когда звонит телефон: «Рада». Не «ок», не «да», а звонок,

настоящий. Я роняю нож в раковину, вытираю руки о фартук и несусь в комнату, как будто телефон может исчезнуть.

– Радочка! Привет, доченька, я…

– Мам, привет. Слушай, у меня тут дело. – Голос у неё деловой, чуть хриплый, как будто она давно не разговаривала. – Мне нужна тёплая куртка. Та, серая, пуховая, она у тебя в шкафу на верхней полке. На улице холодает, а у меня только эта осенняя. Можешь прислать на такси? Я заплачу водителю, если надо.

– Конечно, пришлю. Господи, Рада, какая ещё плата? – Я прижимаю трубку к уху обеими руками. – Радочка, послушай. Мне нужно с тобой поговорить, не про куртку. Про суд. Тебе, наверное, уже сказали, что отец подал иск, и там написано про тебя, про то, что ты…

– Мам, я по делу. – Она перебивает меня мягко, но так, что я чувствую стену. – Давай не сейчас, ладно? Мне некогда. Куртку пришли, пожалуйста. Адрес скину в сообщении.

– Но, Рада…

– Всё, мам, пока.

Гудки. Я стою посреди комнаты с телефоном, а потом иду в её комнату, вытаскиваю с верхней полки серую пуховую куртку, которая пахнет её шампунем, и бережно складываю в пакет. Кладу сверху шарф и вязаные перчатки, которые она не носила два года, вдруг пригодятся. Вызываю такси и спускаюсь с пакетом во двор, под фонарь, где листья уже лежат плотным жёлтым ковром, и отдаю его молодому водителю

в кепке. Он везёт мою куртку на Левобережье, а я стою и смотрю, как красные огни исчезают за поворотом.

***

В десять вечера я сижу на кухне, потому что спать невозможно. Передо мной иск, мой блокнот с пометками, чашка холодного чая и последний леденец Прокопа Ильича, который я держу в кулаке, не разворачивая. Я перечитала уже все «в интересах ребёнка», и каждый раз эта фраза звучит иначе: сначала как предательство, потом как чужая речь, а теперь как приговор тому, кем я была последние пять лет. Куртка доехала, Рада написала: «получила, спс». Это на целое слово больше обычного «ок», и то хорошо.

Я набираю номер, который Каролина записала мне на бумажке. Гудки идут долго, и я успеваю подумать, что в десять вечера нормальные люди спят, но на четвёртом гудке в трубке раздаётся низкий голос, ничуть не сонный:

– Хабибуллина слушает.

– Зульфия Маратовна, это Янина Логинова. Простите за поздний звонок. Я думала весь вечер. – Я глубоко вдыхаю, расправляю плечи, как перед выходом на сцену, и впервые за много недель чувствую, что голос меня слушается. – Подаём встречный, Зульфия Маратовна. Половина «Логина» моя, и дарить её я не собираюсь.

Глава 4. Семь пунктов

Утром я трижды переодеваюсь, и это само по себе смешно, потому что идти предстоит не на сцену. Сначала надеваю строгую тёмную блузку, потом понимаю, что в ней я похожа на завуча, и меняю её на мягкий свитер цвета сливы, который Рада когда-то назвала «мамин, но не мамский». Распускаю пучок, смотрю в зеркало, убираю волосы обратно: без пучка я чувствую себя голой.

– Спокойно, Яна, – говорю я зеркалу. – Ты идёшь пить кофе с дочерью. Не командовать. Просто пить кофе.

Зеркало молчит, и я беру сумку.

В кофейне «Пенка» на Любинском я занимаю столик у окна в девять утра, за сорок минут до встречи, и дописываю на листе седьмой пункт: «Учёба». Почерк у меня ровный, учительский, каждая строка начинается с большой буквы и заканчивается точкой. Первым стоит «Школа», вторым «Суд», третьим «Питание», четвёртым «Отец», дальше «Здоровье», «Деньги» и вот теперь «Учёба». Я вчера полвечера выстраивала этот список, чтобы не расплакаться в первую минуту и не наговорить лишнего, и теперь он лежит передо мной, как сценарий, где у каждой реплики есть отметка. Рада согласилась на кофе только после третьего моего сообщения, ответила «ок, в 9:40», а встречный иск, поданный Зульфией Маратовной, уже лежит в суде, и об этом мне тоже придётся

с ней заговорить.

За окном первый снег. Он идёт мокрый, крупный, сразу тает на асфальте, но на подоконнике уже собрался белый ободок, и прохожие проскакивают мимо, пряча носы в воротники. Официантка приносит мне капучино, ставит рядом блюдце с печеньем и украдкой косится на лист, а я накрываю его ладонью, как ученица шпаргалку, и мне делается смешно и страшно одновременно.

Рада приходит в девять сорок две. Я узнаю её сначала по походке, лёгкой и вызывающей, а потом замечаю волосы: от висков вдоль щёк у неё спускаются две розовые пряди, яркие, как жевательная резинка, на фоне тёмных волос это выглядит почти вызовом. Я успеваю подумать, что такого оттенка в моей палитре нет, и тут же понимаю, чья это рука.

– Привет, мам. – Она садится напротив, не снимая куртки, ту самую серую, пуховую, которую я присылала на такси. – Ты рано.

– Привет, Радочка. Я… хотела не опаздывать. – Я пододвигаю к ней меню. – Закажешь что-нибудь? Тут хороший горячий шоколад.

– Спасибо, не хочу. Я позавтракала. – Она оглядывается на дверь, потом на меня, и я вижу, что она напряжена, как перед экзаменом. – Ну? О чём ты хотела поговорить?

Я убираю руку с листа и поворачиваю его к себе, чтобы читать удобнее. Это ошибка, я понимаю это сразу, но уже поздно: Рада видит бумагу, видит нумерацию, и у неё в лице

что-то захлопывается, как ставни.

– Хорошо, давай по порядку, – говорю я самым мягким тоном, на какой способна. – Я подготовилась, чтобы ничего не забыть. Первое: школа. Папа тебя возит утром, но обратно ты едешь автобусом, и мне не нравится, что ты возвращаешься поздно. Второе: суд. Тебе, возможно, придётся говорить с опекой, и я хочу, чтобы ты знала: что бы ты ни сказала, я не обижусь. Третье: питание. Ты ешь вообще нормально? Николь готовит, или вы заказываете?

– Мам.

– Четвёртое: отец. Я не хочу говорить о нём плохо, правда. Но я хочу понимать, как вы живёте, что он тебе разрешает, что нет. И пятое…

– Мам, ты серьёзно? – Рада откидывается на спинку стула и разглядывает меня так, как разглядывают человека, который перепутал дверь. – Ты принесла бумажку?

– Это не бумажка, это план, чтобы ничего не… – Я слышу собственные слова и вдруг замолкаю.

– Господи, – говорит Рада совсем тихо, и от этой тишины мне становится холоднее, чем от любого крика. – Я же пришла просто посидеть. Я думала, ты скажешь: «Радочка, как ты?» А ты достаёшь список. Пять пунктов, шесть, сколько там у тебя? Семь? – Она тянется к листу, и я инстинктивно прижимаю его, но она только скользит глазами по строкам через мою руку. – «Питание». «Здоровье». Ты даже сейчас по бумажке.

– Рада, пожалуйста, не уходи. Дай мне хотя бы дойти до конца.

– Двенадцать минут. – Она поднимается и застёгивает куртку, и я вижу, что она не хочет уходить, что ей самой больно, но гордость сильнее. – Я засекала, мам. Мне на электронные часы смотреть не надо, я твоя дочь, я привыкла, что всё по таймеру. До свидания. И… не звони мне каждый вечер, ладно? Я сама напишу.

– Рада, подожди! – Я вскакиваю, задеваю чашку, и капучино плещет на скатерть. – Хорошо, давай без списка, давай просто поговорим, я же стараюсь!

– Вот именно, мам, – не оборачиваясь, бросает она. – Ты стараешься.

Она уходит, колокольчик на двери звякает ей вслед, и на секунду в кофейню врывается холодный воздух со снегом. Я сижу, не двигаясь, пока официантка не подходит убрать нетронутое меню, и только тогда замечаю, что лист по-прежнему лежит на столе, сморщенный от моей руки. Я складываю его вчетверо, прячу в карман пальто и расплачиваюсь за один капучино, который так и не выпила.

***

От Любинского до набережной я иду пешком. Снег смешался с ветром, лезет в лицо, цепляется за ресницы, и я почти не вижу тротуара, но и не хочу вызывать такси: мне нужно, чтобы кто-нибудь или что-нибудь било меня по щекам. Иртыш серый, тяжёлый, вода у берега уже начинает подёр-

гиваться кашей, и на парапете сидят нахохлившиеся голуби.

Я злюсь. На Раду, которая ушла, не дав мне договорить. На Рамиля, который научил её смотреть так, как смотрит он: с лёгким превосходством, будто всё уже было. И сильнее всего на себя, потому что внутренний голос, самый точный, самый безжалостный, твердит одно и то же: она права, ты принесла бумажку. Ты пришла к дочери, которая полтора месяца молчала, и вместо «как ты» предъявила ей пункты.

– Ну и что, – бормочу я вслух, и какая-то женщина с собакой оборачивается на меня. – Ну и что, что план? Ну и что?

Мимо проходит пара с коляской, укрытой клеёнкой от снега, и молодая мать на ходу что-то воркует ребёнку, а отец идёт рядом и несёт зонт над ними обоими, сам оставаясь под снегом. Я провожаю их глазами и вдруг очень ясно, почти физически вспоминаю Раду трёх лет, в смешной шапке с ушами, как она тянула ко мне руки на этой самой набережной и говорила: «Мама, неси». И я несла, не думая ни о каких пунктах.

Ничего. Снег падает, река течёт, голуби взлетают. Я стою на ветру, пока не замерзают пальцы, а потом иду в ДК, потому что в одиннадцать репетиция, а ничего другого у меня сегодня нет.

***

Я не успеваю дойти до зала, как в коридоре меня перехватывает Прокоп Ильич с баяном на плече. Он стоит у батареи, грея замёрзшие пальцы, и от него пахнет мятой и стариков-

ским табаком, который он якобы бросил.

– Яночка, на тебе лица нет. – Он говорит негромко, и в глазах за стёклами очков одна тревога. – Я не лезу, но скажу. Радочка твоя, когда была маленькая, ты помнишь, как она на сцену выходила? Руки трясутся, а глаза горят. Я тогда, Яночка, ещё подумал: вот будет артистка. А потом ты её при всех, в мае, помнишь? Я потом три дня не играл.

– Помню, Прокоп Ильич. – Я сжимаю лямку сумки. – Вы мне это припоминаете сейчас, когда и так тошно?

– Не припоминаю, а говорю, что она вернётся, – упрямо произносит он. – Они всегда возвращаются, дети. Только дверь нужно оставить открытой. Эх. Старый я стал, болтаю.

Он суёт мне в ладонь леденец, и я иду в зал, сжимая его так, что обёртка хрустит.

Воскресная репетиция старших начинается почти без разговоров. Я вхожу в зал, ставлю сумку, включаю свет, и пока ребята переодеваются, стою у зеркала и пытаюсь вернуть себе лицо тренера: убрать красные глаза, приподнять подбородок. Выходит плохо, и Каролина, пробегающая мимо с папкой, на секунду замирает и ничего не говорит, только хлопает меня по плечу.

В перерыве, когда остальные пьют воду у окна, ко мне подходит Айгуль. Она грызёт ноготь на большом пальце, прячет другую руку за спину, и косы у неё растрёпаны, как будто она ночь не спала. Подходит близко, хотя обычно держится на метр.

– Янина Викторовна, можно вас спросить?

– Конечно, Айгуль. Что такое?

– Я… – Она набирает воздух, и я вижу, как у неё дрожит подбородок. – Я боюсь сольной проходки. В «Сибирской кадрили». Там на конкурсе будет зал большой, и жюри, и я всё забуду, и подведу всех. Я вчера ночью даже репетировала в коридоре, а папа услышал и спросил, что со мной, а я сказала, что пить хочу.

И вот тут, вместо того чтобы сесть рядом и спросить, как это бывает, и когда страх приходит, и что она чувствует в животе, я говорю то, что говорила пятнадцать лет подряд сотням детей:

– Соберись, Айгуль. Страх проходит, когда делаешь. Ты выучила номер лучше всех, значит, всё получится.

Слова летят из меня сами, гладкие, правильные, и только потом я слышу, как они звучат. «Соберись». Как приказ перед атакой. Айгуль послушно опускает ресницы, потому что на такие слова нечего ответить, но глаза у неё становятся ещё несчастнее, и она тихо отходит к окну. Я стою и думаю, что пожарный, этот неприятный упрямый человек в тёмной куртке, всё-таки сказал мне правду, и мне хочется вслух выругаться.

***

В десять минут третьего я выхожу в фойе. Снег за огромными окнами уже густой, красивый, декорации к новогоднему утреннику, и на скамейке у гардероба сидит Олжас Се-

рикович, как всегда, с прямой спиной и руками на коленях. Увидев меня, он поднимается, и я вдруг понимаю, что рада этому, как ни странно, потому что он единственный человек сегодня, который не хочет от меня ни плана, ни результата.

– Добрый день, Янина. Я пришёл забрать дочь, она ещё переодевается. Вы… простите, у вас всё в порядке?

– Нет, – говорю я, и сама поражаюсь, как легко это слово выходит наружу. – Не в порядке. Я сегодня утром, Олжас Серикович, сидела в кофейне с собственной дочерью и зачитывала ей план. По пунктам, их было семь, я потратила на него вечер. Она слушала двенадцать минут, потом сказала, что я даже сейчас по бумажке, и ушла. Вот. Можете торжествовать.

– Господи, да я не знаю, что мне делать! – вырывается у меня громче, чем я хотела, и гардеробщица за стойкой поднимает голову. Я понижаю голос и повторяю сквозь зубы: – Я не знаю. Я всю жизнь знала, что делать: выстроить, поставить, показать. А с ней не работает ничего, она как будто с другой планеты.

Он не торжествует. Он молча указывает на скамейку, и я, неожиданно для себя, сажусь, а он садится рядом, оставив между нами полметра. Из окна тянет холодом, пахнет мокрыми куртками и мастикой, внизу в раздевалке кто-то смеётся. Олжас Серикович изучает свои руки, потом поднимает глаза.

– Хм. Я не стану торжествовать, потому что не вижу чему.

Можно я расскажу вам, как у меня было? Тогда вы сможете решить, нужно ли вам это слушать.

– Расскажите, – говорю я. – Всё равно мне больше некуда идти.

– В феврале две тысячи двадцатого от меня ушла жена. Просто собрала вещи и уехала в Новосибирск, у неё там появилась другая жизнь. Айгуль тогда было восемь. Она замолчала, не совсем, но почти: отвечала на вопросы, ела, ходила в школу, а со мной не разговаривала полгода. Я тогда решил, что должен всё исправить, и составил план. Правда, честное слово: расписание, кружки, психолог, поездки на выходные. Я искренне думал, что если заполню ей день, то не останется места для боли.

– И что?

– Она сидела на кухне и смотрела в тарелку. А я говорил ей: «Айгуль, давай обсудим, что тебе нужно». – Он едва заметно усмехается, и в обветренном лице появляется что-то очень усталое. – Это потом уже я узнал, что ей нужно было, чтобы я просто посидел рядом и ничего не предлагал. Я научился спрашивать и ждать. Это оказалось сложнее, чем потушить склад, поверьте, я знаю обе работы.

Я слушаю и вдруг замечаю, что не злюсь. Мне хочется возразить, сказать, что у меня другое, что мы в разных положениях, но внутри ничего не поднимается. Он говорит ровно, не давя, и каждая его фраза ложится рядом, а не поверх.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.